**ОБРАЗ ЛЕРМОНТОВА**

**Ираклий Андроников**

1

Когда, по окончании юнкерской школы, Лермонтов вышел корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк и впервые надел офицерский мундир, бабка поэта заказала художнику Ф. О. Будкину его парадный портрет. С полотна пристально смотрит на нас спокойный, благообразный гвардеец с правильными чертами лица: удлиненный овал, высокий лоб, строгие карие глаза, прямой, правильной формы нос, щегольские усики над пухлым ртом. В руке — шляпа с плюмажем. «Можем... засвидетельствовать, — писал об этом портрете родственник поэта М. Н. Лонгинов, — что он (хотя несколько польщенный, как обыкновенно бывает) очень похож и один может дать истинное понятие о лице Лермонтова». Но как согласовать это изображение с другими портретами, на которых Лермонтов представлен с неправильными чертами, узеньким подбородком, с коротким, чуть вздернутым носом?

Всматриваясь в изображения Лермонтова, мы понимаем, что художники старательно пытались передать выражение глаз. И чувствуем, что взгляд не уловлен. При этом — портреты все разные. Если пушкинские как бы дополняют друг друга, то лермонтовские один другому противоречат. Правда, А. С. Пушкина писали великолепные портретисты — О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, П. Ф. Соколов. Пушкина лепил И. П. Витали. Лермонтовские портреты принадлежат художникам не столь знаменитым — П. Е. Заболотскому, А. И. Клюндеру, К. А. Горбунову, способным, однако, передать характерные черты, а тем более сходство. Но, несмотря на все их старания, они не сумели схватить жизнь лица, оказались бессильны в передаче духовного облика Лермонтова, ибо в этих изображениях нет главного — нет поэта! И, пожалуй, наиболее убедительны из бесспорных портретов Лермонтова — беглый рисунок Д. П. Палена (Лермонтов в профиль, в смятой фуражке) и акварельный автопортрет: Лермонтов на фоне Кавказских гор, в бурке, с кинжалом на поясе, с огромными печально-взволнованными глазами. Два эти портрета представляются нам похожими более других потому, что они внутренне чем-то сходны между собой и при этом гармонируют с поэзией Лермонтова.

Дело, видимо, не в портретистах, а в неуловимых чертах поэта. Они ускользали не только от кисти художников, но и от описаний мемуаристов. И если мы обратимся к воспоминаниям о Лермонтове, то сразу же обнаружим, что люди, знавшие его лично, в представлении о его внешности совершенно расходятся между собой. Одних поражали большие глаза поэта, другие запомнили выразительное лицо с необыкновенно быстрыми маленькими глазами. Глаза маленькие и быстрые? Нет! Ивану Сергеевичу Тургеневу они кажутся большими и неподвижными: «Задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших неподвижно-темных глаз». Но один из юных почитателей Лермонтова, которому посчастливилось познакомиться с поэтом в последний год его жизни, был поражен: «То были скорее длинные щели, а не глаза, — пишет он, — щели, полные злости и ума». На этого мальчика неизгладимое впечатление произвела внешность Лермонтова: огромная голова, широкий, но не высокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивавшееся узким подбородком, желтоватое, нос вздернутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики, коротко остриженные волосы. И — сардоническая улыбка... А один из приятелей Лермонтова пишет о милом

13

выражении лица. Один говорит: «широкий, но не высокий лоб», другой: «необыкновенно высокий лоб». И снова: «большие глаза». И опять возражение: нет, «глаза небольшие, калмыцкие, но живые, с огнем, выразительные». И решительно все стремятся передать непостижимую силу взгляда: «огненные глаза», «черные как уголь», «с двумя углями вместо глаз». По одним воспоминаниям, глаза Лермонтова «сверкали мрачным огнем», другой мемуарист запомнил его с «пламенными, но грустными по выражению глазами», смотревшими на него «приветливо, с душевной теплотой».

Последние строки взяты из воспоминаний художника М. Е. Меликова, который особое внимание уделил в своем описании взгляду Лермонтова. «Приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, — пишет Меликов, — он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти, умные, с черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрет Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и по-моему, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь глаз)». Однако на этот счет Карл Брюллов держался иного мнения. «Я как художник, — сказал он однажды, вспомнив лермонтовские стихи, — всегда прилежно следил за проявлением способностей в чертах лица человека; но в Лермонтове я ничего не нашел».

Впрочем, и сам Лермонтов смеялся над собой, говоря, что судьба, будто на смех, послала ему общую армейскую наружность.

Не только внешность, но и характер его современники изображают между собой так несхоже, что временами кажется, словно речь идет о двух Лермонтовых. Одним он кажется холодным, желчным, раздражительным. Других поражает живостью и веселостью. Одному вся фигура поэта внушает безотчетное нерасположение. Другого он привлекает «симпатичными чертами лица». «Язвительная улыбка», «злой и угрюмый вид», — читаем в записках светской красавицы. «Скучен и угрюм», — вторит другая. «Высокомерен», «едок», «заносчив» — это из отзывов лиц, принадлежавших к великосветскому обществу. А человек из другого круга — кавказский офицер А. Есаков, бывший еще безусым в пору, когда познакомился с Лермонтовым, — вспоминает: «Он школьничал со мною до пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл».

И совсем другой Лермонтов в изображении поэта — переводчика Лермонтова на немецкий язык: «В его характере преобладало задумчивое, часто грустное настроение». И снова — портрет, открывающий новые грани характера, — воспоминания князя М. Б. Лобанова-Ростовского, с которым Лермонтов встречался в Петербурге, в компании своих сверстников: «С глазу на глаз и вне круга товарищей он был любезен, речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительна. Но в своем обществе это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгула, насмешки...».

Очевидно, Лермонтова можно было представить себе только в динамике — в резких сменах душевных состояний, в быстром движении мысли, в постоянной игре лица. А кроме того, он, конечно, и держался по-разному — в петербургских салонах, где подчеркивал свою внутреннюю свободу, независимость, презрение к светской толпе, и в компании дружеской, среди людей простых и достойных. «Когда бывал задумчив, — пишет узнавший его на войне артиллерийский поручик К. Х. Мамацев,

14

— что случалось нередко, лицо его делалось необыкновенно выразительным, серьезно-грустным; но как только являлся в компании своих гвардейских товарищей, он предавался тому же банальному разгулу, как все другие; в это время делался более разговорчив, остер и насмешлив, и часто доставалось от его острот дюжинным его товарищам».

Лермонтов терпеть не мог рисоваться и, как пишет один из его современников, имевший случай беседовать с людьми, хорошо его знавшими, был истинно предан малому числу своих друзей, а в обращении с ними полон женской деликатности и юношеской горячности. «Оттого-то до сих пор в отдаленных краях России вы еще встретите людей, которые говорят о нем со слезами на глазах и хранят вещи, ему принадлежавшие, более, чем драгоценность». Эти строки взяты из журнальной статьи писателя А. В. Дружинина, высоко ценившего поэзию Лермонтова. Побывав на Кавказе, когда там еще была свежа память о нем, Дружинин близко узнал одного из друзей и сослуживцев поэта — Руфина Дорохова. Тот много рассказывал о Лермонтове. И кроме беглых впечатлений, изложенных на страницах журнала, Дружинин написал в 1860 году на основе этих рассказов большую статью о поэзии Лермонтова, о его характере и судьбе.

В свое время эта статья осталась ненапечатанной и обнаружена только теперь, столетие спустя. Она хотя и опубликована ныне (Литературное наследство, т. 67, 1959, с. 630—43, публикация Э. Г. Герштейн), но мало кому известна. А между тем мы находим в ней разъяснение многих черт личности Лермонтова и загадок его судьбы. Статья эта проливает некоторый свет на непостижимый творческий подвиг Лермонтова, за четыре с небольшим года после гибели Пушкина создавшего величайшие творения романтической поэзии — «Демона», «Мцыри», эпическую «Песню про царя Ивана Васильевича...»; полную тонкой иронии по отношению к себе и к романтическому направлению в литературе поэму, названную им «Сказкою для детей», и гениальный роман «Герой нашего времени», знаменовавший начало русской психологической прозы, сборник стихов, означивший целый период в истории русской лирики, и другой поэтический сборник, которого в печати увидеть Лермонтову не довелось. Не только гениальный поэтический дар, но и великая устремленность, могучая творческая воля, непрестанное горение помогли ему наполнить творчеством каждый миг его краткой жизни.

Дорохова, человека безудержной отваги и пылкого темперамента, удивляла в Лермонтове эта сила характера. «По натуре своей предназначенный властвовать над людьми», — начинает и вычеркивает Дружинин, стремясь наиболее точно передать впечатления Дорохова. «По натуре своей горделивый, сосредоточенный и сверх того, кроме гения, отличавшийся силой характера, — продолжает он начатую характеристику, — наш поэт был честолюбив и [горд] скрытен». И снова — о железном характере Лермонтова, который впервые проявился в дни опалы за стихи на смерть Пушкина: «Немилость и изгнание, последовавшие за первым подвигом поэта, Лермонтов, едва вышедший из детства, вынес так, как переносятся житейские невзгоды людьми железного характера, предназначенными на борьбу и владычество».

С какой ясностью свидетельствуют эти строки о том, что Лермонтов, более чем кто-либо другой при его жизни, исключая разве В. Г. Белинского, понимал собственное значение и роль, каковую ему было предназначено сыграть в русской литературе и — больше того — в жизни русского общества! Впервые с такой очевидностью мы узнаем из этой статьи, что на Кавказе, среди людей непривилегированных, у Лермонтова были истинные друзья, что он был знаменит не только в литературных салонах и в широком кругу своих почитателей в обеих столицах, но и на «всем

15

Кавказе». «Большая часть из современников Лермонтова, — продолжает Дружинин, — даже многие из лиц, связанных с ним родством и приязнью, — говорят о поэте как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам, — но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу».

При этом статья Дружинина раскрывает черты личности Лермонтова, о которых прежде мы могли только догадываться и которые объясняют нам его сложный и внешне противоречивый характер. Со слов Дорохова автор ее говорит о сохранившейся с детства привычке Лермонтова к сосредоточенной мечтательности и о другой особенности, старательно им скрывавшейся. «Лермонтов долго был нескладным мальчиком, — пишет Дружинин, — и даже в молодости выезжая в свет, имея на всем Кавказе славу льва-писателя, не мог отделаться от застенчивости, которую только прикрывал то холодностью, то насмешливой сумрачностью приемов». Мир искусства, замечает Дружинин, был для него святыней и цитаделью, куда не давалось доступа ничему недостойному. «Гордо, стыдливо и благородно совершил он свой краткий путь среди деятелей русской литературы», — говорится в этой статье, удивительной по обилию тонких и верных мыслей о поэзии Лермонтова и живых впечатлений, полученных от друга и очевидца, разделявшего с поэтом опасности в кровопролитных боях и лишения в долгих походах.

Чем усерднее вчитываемся мы в дошедшие до нас строки воспоминаний, тем более убеждаемся, что Лермонтов действительно был разным и непохожим — среди беспощадного к нему света и в кругу задушевных друзей, на людях и в одиночестве, в сражении и в петербургской гостиной, в момент поэтического вдохновения и на гусарской пирушке. Это можно сказать про каждого, но у Лермонтова грани характера были очерчены особенно резко, и мало кто возбуждал о себе столько разноречивых толков. Одни воспоминания о нем надобно читать, понимая буквально, другие — угадывая в описаниях, казалось бы объективных, бессильную злобу и стремление дискредитировать если не поэзию, то хотя бы поэта — человека иного образа мыслей и нравственных представлений, разрушавшего общепринятую условность и весь этикет лицемерного великосветского общества и поставившего себе целью говорить одну только беспощадную правду. Такие мемуары приходится читать, угадывая под личиной беспристрастных свидетелей непримиримых врагов.

Н. П. Раевский, офицер, встречавший Лермонтова в кругу пятигорской молодежи летом 1841 года, рассказывал: «Любили мы его все. У многих сложился такой взгляд, что у него был тяжелый, придирчивый характер. Ну, так это неправда; знать только нужно было, с какой стороны подойти... Пошлости, к которой он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми и искренними и сам был прост и ласков».

«Он был вообще не любим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах». Это прямо противоположное утверждение принадлежит князю Васильчикову, секунданту на последней — роковой — дуэли с Мартыновым.

«Все плакали, как малые дети», — рассказывал тот же Раевский, вспоминая час, когда тело поэта было доставлено в Пятигорск.

«Вы думаете, все тогда плакали? — с раздражением говорил много лет спустя священник Эрастов, отказавшийся хоронить Лермонтова. — ...Все радовались».

И сколько ни будете читать воспоминаний о Лермонтове, более, чем о поэте, они будут говорить вам об отношении к нему мемуаристов. Кому из них верить, если даже и декабрист Н. И. Лорер оставил недоброжелательную запись о нем?

16

2

Впрочем, есть книги, которые содержат самый достоверный лермонтовский портрет, самую глубокую и самую верную лермонтовскую характеристику. Это — его сочинения, в которых он отразился весь, каким был в действительности и каким хотел быть! Читая лирические стихи и бурные романтические поэмы, трагический «Маскарад» и одну из самых удивительных книг во всей мировой литературе — «Герой нашего времени» мы невольно вспоминаем, что сказал Пушкин о Байроне: «Он исповедался в своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии».

Как всякий настоящий, а тем более великий поэт, Лермонтов исповедался в своей поэзии, и, перелистывая томики его сочинений, мы можем прочесть историю его души и понять его как поэта и человека.

Страницы его юношеских тетрадей напоминают стихотворный дневник, полный размышлений о жизни и смерти, о вечности, о добре и зле, о смысле бытия, о любви, о будущем и о прошлом:

Редеют бледные туманы  
Над бездной смерти роковой,  
И вновь стоят передо мной  
Веков протекших великаны...

Историю протекших веков и все лучшее, накопленное русской и европейской культурой, — поэзию, прозу, драматическую литературу, музыку, живопись, труды исторические и философские, — Лермонтов усваивал начиная с первого дня пребывания в Пансионе при Московском университете, а затем в годы студенчества.

Приятелям запомнилась его любимая поза: облокотившись на одну руку, Лермонтов читает принесенную из дома книгу, и ничто не может ему помешать — ни разговоры, ни шум.

Он владеет французским, немецким, английским, читает по-латыни, впоследствии, на Кавказе, примется изучать «татарский», то есть азербайджанский язык, в Грузии будет записывать слова грузинские и одной из своих поэм даст грузинское название — «Мцыри». Он помнит тысячи строк из произведений поэтов великих и малых, иностранных и русских, но из обширного круга его чтения нужно выделить двух авторов: Байрона и — особенно — Пушкина. Еще ребенком Лермонтов постигал законы поэзии, переписывая в свой альбом их стихи. Перед Пушкиным он благоговел всю жизнь. И больше всего любил «Евгения Онегина». Об этом он сам говорил Белинскому.

Он не просто читал — каждая книга была для него ступенью к самостоятельному пониманию назначения поэзии, каждая воспринималась критически. «Я читаю Новую Элоизу, — записывает семнадцатилетний Лермонтов впечатление от знаменитого романа Жан Жака Руссо. — Признаюсь, я ожидал больше гения, больше познания природы и истины... Вертер лучше: там человек — более человек», — дописывает он, отдавая предпочтение роману Гёте.

Воображение уносит его на Кавказ, где он побывал в детстве, и в страны, где он никогда не бывал, — в Литву, Финляндию, Испанию, Италию, Шотландию, Грецию, в будущее и в прошлое и даже в мировое пространство:

Как часто силой мысли в краткий час  
Я жил века и жизнию иной.  
И о земле позабывал...

Его мысль в непрестанном горении. Недаром Белинский сразу же отметил у Лермонтова «резко ощутительное присутствие мысли», и не одни пластические изображения, заключающие в себе мысли поэта, но самая

17

мысль, обретшая художественную форму, составляет силу множества его лучших вещей — «Не верь себе», «Сказки для детей», «Демона», «Думы»:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,  
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви.  
И царствует в душе какой-то холод тайный,  
Когда огонь кипит в крови.

Природа наделила его страстями. Трех лет он плакал на коленях у матери от песни, которую она певала ему. И в память о рано угасшей матери и о песне он написал потом своего «Ангела»:

Он душу младую в объятиях нес  
     Для мира печали и слез;  
И звук его песни в душе молодой  
     Остался без слов, но живой.

Он полюбил впервые в десятилетнем возрасте на Кавказе. Вспоминая через пять лет златокудрую девочку и Кавказские горы, он записал в тетрадку свою: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки».

Он утверждал это на основании своего опыта. Он был одарен удивительной музыкальностью — играл на скрипке, на фортепиано, пел, сочинял музыку на собственные стихи. В последний год жизни он положил на музыку свою «Казачью колыбельную песню». Были даже и ноты, но пропали и до нас не дошли. Однако, если бы мы даже не знали об этом, мы догадались бы о его музыкальности, читая стихи и прозу его. Не много было в мире поэтов, умевших передавать тончайшие душевные состояния, пластические образы и живой разговор посредством стиха и прозаической фразы, звучание которых составляет неизъяснимую прелесть, заключенную в музыкальности каждого слова и в самой поэтической интонации. Не много рождалось поэтов, которые бы так «слышали» мир и видели его так — динамично, объемно, красочно. В этом Лермонтову-поэту помогал его глаз художника. Не только с натуры, но и на память он мог воспроизводить на полотне, на бумаге фигуры, лица, пейзажи, кипение боя, скачку, преследование. И, обдумывая стихотворные строки, любил рисовать грозные профили и горячих, нетерпеливых коней. Если бы он профессионально занимался живописью, он мог бы стать настоящим художником.

Изображая в «Герое нашего времени» ночной Пятигорск, он сперва описывает то, что замечает в темноте глаз, а затем — слышит ухо: «Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц поднимался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрыпом нагайской арбы и заунывным татарским припевом».

Эти описания Лермонтова так пластичны, что понятным становится, почему современники называли его русским Гёте: в изображении природы великий немецкий поэт считался непревзойденным. «На воздушном океане» — строки, не уступающие пантеистической лирике Гёте, Лермонтов написал в 24 года. При всем том он умел одухотворять, оживлять природу: утес, тучи, дубовый листок, пальма, сосна, дружные волны наделены у него человеческими страстями — им ведомы радости встреч, горечь разлук, и свобода, и одиночество, и глубокая, неутолимая грусть.

«Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче», — вписал шестнадцатилетний Лермонтов в одну из своих тетрадок. Суровая жизнь с малых лет расстраивала ему эту «музыку сердца».

18

После того как из университетских аудиторий он перешел в Петербург, в кавалерийскую школу, его старший и верный друг Мария Лопухина писала ему из Москвы: «Если вы продолжаете писать, не делайте этого никогда в школе и ничего не показывайте вашим товарищам, потому что иногда самая невинная вещь причиняет нам гибель. Остерегайтесь сходиться слишком близко с товарищами, сначала хорошо их узнайте. У вас добрый характер, и с вашим любящим сердцем вы тотчас увлечетесь».

Добрый характер, любящее сердце, способность увлекаться — вот каким он был и каким навсегда остался в отношениях с друзьями. Он не изменял им, не забывал их. И, обращаясь к умершему декабристу — поэту Александру Одоевскому, с которым встретился на Кавказе, писал:

Мир сердцу твоему, мой милый Саша!  
Покрытое землей чужих полей,  
Пусть тихо спит оно, как дружба наша  
В немом кладбище памяти моей!

И, посвящая «Демона» женщине, которая не дождалась его, он обращался к ней с горьким упреком:

Я кончил, и в груди невольное сомненье:  
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,  
Стихов неведомых задумчивое пенье,  
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг?

Другом поэта был и тот, кто помог ему распространить стихи на смерть Пушкина, и та, что одною из первых угадала в нем великий талант. И кавказский кинжал — символ вольности — он считал своим другом, и сражающийся Кавказ, что олицетворял в представлении Лермонтова отвагу, честь, благородство, стремление к свободе.

Лермонтов не умел и не хотел скрывать свои мысли, маскировать чувства. Уроки Марии Лопухиной впрок не пошли. Он оставался доверчивым и неосторожным. И больше, чем открытая злоба врагов, его ранила ядовитая клевета друзей, в которых он ошибался. И чувство одиночества в царстве произвола и мглы, как назвал николаевскую империю А. И. Герцен, было для него неизбежным и сообщало его поэзии характер трагический. Его жизнь омрачала память о декабрьском дне 1825 года и о судьбах лучших людей. Состоянию общественной жизни отвечала его собственная трагическая судьба: ранняя гибель матери, жизнь вдали от отца, которого ему запрещено было видеть, мучения неразделенной любви в ранней юности, а потом разлука с Варварой Лопухиной, разобщенные судьбы, политические преследования и жизнь изгнанника в последние годы... Все это свершалось словно затем, чтобы усилить трагический характер его поэзии.

И при всем том он не стал мрачным отрицателем жизни. Он любил ее страстно, вдохновленный мыслью о родине, мечтой о свободе, стремлением к действию, к подвигу.

Чем старше он становился, тем все чаще соотносил субъективные переживания и ощущения с опытом и судьбой целого поколения, все чаще «объективировал» современную ему жизнь. Мир романтической мечты уступал постепенно изображению реальной действительности. Все чаще в поэзию Лермонтова вторгалась повседневная жизнь и конкретное время — эпоха 30—40-х годов с ее противоречиями: глубокими идейными интересами и мертвящим застоем общественной жизни.

И все, что им создано за тринадцать лет творчества, — это подвиг во имя свободы и родины. И заключается он не только в прославлении бородинской победы, в строках «Люблю отчизну я...» или в стихотворном

19

рассказе «Мцыри», но и в тех сочинениях, где не говорится прямо ни о родине, ни о свободе, но — о судьбе поколения, о назначении поэта, об одиноком узнике, о бессмысленном кровопролитии, об изгнании, о пустоте жизни...

Скорбная и суровая мысль о поколении, которое, как казалось ему, обречено пройти по жизни, не оставив следа в истории, вытеснила юношескую мечту о романтическом подвиге. Лермонтов жил теперь для того, чтобы сказать современному человеку правду о «плачевном состоянии» его духа и совести, — поколению малодушному, безвольному, смирившемуся, живущему без надежды на будущее. И это был подвиг труднейший, нежели готовность во имя родины и свободы погибнуть на эшафоте. Ибо не только враги, но даже и те, ради которых он говорил эту правду, обвиняли его в клевете на современное общество. И надо было обладать прозорливостью Белинского, чтобы увидеть в «охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь» веру Лермонтова в достоинства жизни и человека.

И все же не только внутреннее возмужание было причиной стремительного развития Лермонтова. С того дня, когда он, подхватив знамя русской поэзии, выпадавшее из рук убитого Пушкина, встал на его место, он уже обращался к своему современнику, поднимал перед ним «вопрос о судьбе и правах человеческой личности» и отвечал на него всем своим творчеством.

С юных лет светское общество, с которым Лермонтов был связан рождением и воспитанием, олицетворяло в его глазах все лживое, бесчувственное, жестокое, лицемерное. И заглавие трагедии «Маскарад» заключает в себе смысл иронический, ибо у этих людей лицо было маской, а в маскараде, неузнанные, они выступали без масок, в обнажении низменных страстей и пороков. И Лермонтов имел смелость высказать все, что думал о них. В день гибели Пушкина он впервые заявил о себе. И первое, что он сказал им:

Свободы, Гения и Славы палачи!

Он грозил им народной расправой и указывал на их связь с императорским троном. «Люди лицемерные, слабые никогда не прощают такой смелости», — писал о нем Герцен. И на последних вдохновениях Лермонтова уже лежит печать обреченности. Но неуклонно следовал он по избранному пути. И ненависть к «стране господ», отрицание купленной кровью славы только обостряли его любовь к «печальным деревням» и к «холодному молчанию» русских степей.

Десять лет писал он стихи, поэмы, драмы, прозу, прежде чем решился стать литератором. Еще три года понадобилось, чтобы из лучшего, что он создал, составить небольшой сборник. Взыскательность, строгость его по отношению к себе удивительны. Только две поэмы и два с половиной десятка стихотворений отобрал он из сотен стихов и трех десятков поэм. Зато никто еще не выступал в первый раз с таким сборником.

Все совместилось в этой маленькой книжке — старинный сказ «Песни про царя Ивана Васильевича...» и простая речь бородинского ветерана; тихая молитва о безмятежном счастье любимой женщины, которая принадлежит другому, и горечь разлуки с родиной; холодное отчаяние, продиктовавшее строки «И скучно и грустно...», и нежный разговор с ребенком; беспощадная ирония в обращении к богу и ласка матери, напевающей песню над младенческой колыбелью; трагическая мысль «Думы» и страстный разговор Терека с Каспием; горестная память о погибшем изгнаннике и гневная угроза великосветской черни; сокрушительная страсть Мцыри — призыв к борьбе, к избавлению от рабской неволи, и сладостная песня влюбленной рыбки; пустыни Востока, скалы Кавказа, желтеющие нивы России, призрачный корабль, несущий по волнам океана французского императора, слезы заточенного и страстный спор

20

о направлении поэзии — все было в этом первом и последнем сборнике, который вышел при жизни поэта.

Вот такой и был Лермонтов, только натура его и личность его были еще богаче, потому что в эту книжку не вошли ни «Демон», ни «Маскарад», ни «Герой нашего времени», ни стихотворения последнего года, в которых он поднимается еще выше, потому что «Валерик», «Завещание», «Любовь мертвеца», «Спор», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...» раскрывают новые стороны этой великой души. А между этими стихами мелькают острые эпиграммы и любезные, или добрые, или колкие стихотворные шутки...

Эти контрасты, эти смены душевных состояний в сочетании с верностью Лермонтова излюбленным идеям и образам сообщают его поэзии удивительное своеобразие, выражение неповторимое. И любимым поэтическим средством являются в ней антитезы — столкновение противоположных понятий: «день первый» — «день последний», «позор» — «торжество», «паденье» — «победа», «свиданье» — «разлука», «демоны» — «ангелы», «небо» — «ад», «блаженство» — «страданье»... И другой, излюбленный, поэтический прием — анафора, настойчивое повторение в начале строки одного и того же слова:

Клянусь я первым днем творенья,  
Клянусь его последним днем,  
Клянусь позором преступленья  
И вечной правды торжеством.  
Клянусь паденья горькой мукой,  
Победы краткою мечтой;  
Клянусь свиданием с тобой  
И вновь грозящею разлукой;  
Клянуся сонмищем духов,  
Судьбою братий, мне подвластных,  
Мечами ангелов бесстрастных,  
Моих недремлющих врагов;  
Клянуся небом я и адом,  
Земной святыней и тобой;  
Клянусь твоим последним взглядом,  
Твоею первою слезой,  
Незлобных уст твоих дыханьем,  
Волною шелковых кудрей;  
Клянусь блаженством и страданьем,  
Клянусь любовию моей...

Как много говорит самый стих о личности его творца, о его характере, о его страсти!

В юности, сочиняя романтические поэмы и драмы, он рисовал в своем воображении свободных и гордых героев, людей пылкого сердца, могучей воли, верных клятве, гибнущих за волю, за родину, за идею, за верность самим себе. В окружающей жизни их не было. Но Лермонтов сообщал им собственные черты, наделял своими мыслями, своим характером, своей волей. Таковы Фернандо, Юрий Волин, Владимир Арбенин в юношеских трагедиях, Измаил-бей, Арсений... И Демон мыслит и клянется, как Лермонтов. Таков и герой «Маскарада» — Евгений Арбенин.

В мире, где нет ни чести, ни любви, ни дружбы, ни мыслей, ни страстей, где царят зло и обман, — ум и сильный характер уже отличают человека от светской толпы. И даже если над ним тяготеет преступное прошлое, как над Арбениным, он все равно возвышается над толпой, и толпа не смеет судить его. «Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет, — писал Белинский, обращаясь к критикам лермонтовского Печорина. — В самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те

21

минуты, когда человеческое чувство восстает на него: ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа...»

Таков Арбенин, таков Печорин. Но, в отличие от прежних своих творений, Лермонтов, создавая «Героя нашего времени», уже не воображал жизнь, а рисовал такой, какой она являлась в действительности. И он нашел новые художественные средства, каких еще не знали ни русская, ни западная литература и которые восхищают нас по сей день соединением свободного и широкого изображения лиц и характеров с умением показывать их объективно, «выстраивая» их, раскрывая одного героя сквозь восприятие другого. Так, автор путевых записок, в котором мы без труда угадываем черты самого Лермонтова, сообщает нам историю Бэлы со слов Максима Максимыча, а тот, в свою очередь, передает монологи Печорина. И, скажем, снять «Бэлу» в кино невозможно, не изменив при этом ее структуру и смысл. Печорина никак не сыграешь, ибо в «Бэле» перед нами не сам Печорин, а Печорин в представлении Максима Максимыча, человека совсем другого круга и другого образа мыслей. И если не будет Максима Максимыча, Печорин станет похож на героев Марлинского. А в «Журнале Печорина» мы видим героя опять в новом ракурсе — такого, каким он был наедине сам с собой, каким мог предстать в своем дневнике, но никогда бы не открылся на людях.

Лишь один раз мы видим Печорина, как его видит автор. И через всю жизнь проносим в душе и в сознании гениальные эти страницы — повесть «Максим Максимыч», одно из самых гуманных созданий во всей мировой литературе. Она поражает нас, эта повесть, как поражает личное горе, как оскорбление, нанесенное нам самим. И вызывает глубокое сочувствие и бесконечную нежность по отношению к обманутому штабс-капитану. И в то же время — негодование по адресу блистательного Печорина. Но вот мы читаем «Тамань», «Княжну Мери» и «Фаталиста» и наконец постигаем характер Печорина в его неизбежной раздвоенности. И, узнавая причины этой «болезни», вникаем в «историю души человеческой» и задумываемся над судьбой «героя» и над характером «времени».

При этом роман обладает свойствами высокой поэзии: его точность, емкость, блеск описаний, сравнений, метафор; фразы, доведенные до краткости и остроты афоризмов, — то, что прежде называлось «слогом» писателя и составляет неповторимые черты его личности, его стиля и вкуса, — доведено в «Герое нашего времени» до высочайшей степени совершенства.

Еще при жизни Лермонтова консервативная критика объявила его талант «протеистическим», собирательным, заключающим в себе отголоски различных влияний, отказывала ему в оригинальности. В противовес этому, прогрессивная критика и широкая публика вслед за В. Г. Белинским и Н. Г. Чернышевским восприняли поэзию Лермонтова как явление глубоко самобытное.

Великая человечность Лермонтова, пластичность его образов, его способность «перевоплощаться» — в Максима Максимыча, в Казбича, в Азамата, в Бэлу, в княжну Мери, в Печорина, соединение простоты и возвышенности, естественности и оригинальности — свойства не только созданий Лермонтова, но и его самого. И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека — грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и проницательным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого.

22

\*\*\*

Выход из печати однотомного энциклопедического издания, специально посвященного Лермонтову, его жизни и литературно-художественному наследию, я надеюсь, будет замечен читателями. Большой материал, собранный в этой книге, представляет интерес не только для исследователей, но для всех, кто любит Лермонтова, кто хочет как можно больше узнать о его короткой жизни и драматической судьбе и как можно глубже проникнуть в сущность его гениального дарования.

Именно эту цель — приобщить читателя к прекрасному, неповторимому и все еще в чем-то загадочному миру лермонтовской поэзии — ставил перед собой большой коллектив авторов и редакторов, создавших книгу, которая теперь займет свое место на книжной полке в качестве первой на русском языке персональной энциклопедии.

eb-web.ru/feb/lermenc/lre/lre-012-.htm